

Ю. МАЛЬЦЕВ

РЕПОРТАЖ
ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА

Ю. МАЛЬЦЕВ

РЕПОРТАЖ

ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА

ИЗДАНИЕ НОВОГО ЖУРНАЛА

1974

РЕПОРТАЖ ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА

П о в е с т к а

Офицеру запаса Мальцеву Ю. В. явиться 17-го октября 1969 г. к 9 ч. утра в райвоенкомат по адресу ул. Островского д. 31, в комнату № 3, имея при себе паспорт и военный билет.

Когда я обнаружил эту серенькую открытку в своем почтовом ящике, я не мог даже вообразить, что меня ждет там, в военкомате, в этот день 17-го октября. Утром по дороге в военкомат я беспечно строил планы на этот день, предполагая часов в десять быть уже свободным после какой-нибудь очередной пустяковой формальности.

В 1968 г. в 90-й кн. «Нового Журнала» мы напечатали, полученные с оказией из Москвы, «Обращение советского литератора Ю. В. Мальцева к ген. секретарю г-ну У-Тану, а так же два письма Ю. В. Мальцева к «Председателю Президиума СССР т. Н. В. Подгорному». В обращении к г-ну У-Тану Ю. В. писал: — «Еще 15 декабря 1964 г. я заявил Верховному Совету СССР о моем отказе от советского гражданства и о намерении эмигрировать из Сов. Союза. Я хочу уехать из этой страны, т.к. будучи литератором, я лишен возможности заниматься здесь своим делом. Я не приемлю официальной советской идеологии, я не верю в коммунизм... и поэтому в стране, где провозглашен обязательный принцип коммунистической партийности в искусстве, я обречен на духовное уничтожение». О том же своем желании покинуть СССР Ю. В. писал в своих двух письмах т. Подгорному. Мы тогда же переслали, в переводе на английский, обращение Ю. В. Мальцева — г-ну У-ТАНУ. Но от этого «прогрессивного» господина не получили даже подтверждения о получении им нашего письма, которое было послано заказным. К счастью, через друзей-иностранцев нам удалось напечатать тогда обращение Ю. В. Мальцева к г-ну У-Тану в нескольких иностранных газетах. Какой «ответ» получил Ю. В. Мальцев на свое заявление от товарища Подгорного, он рассказывает в печатаемой нами его рукописи «Репортаж из Сумасшедшего Дома». К счастью, Ю. В. Мальцев из СССР все-таки вырвался и сейчас живет в Италии. Мы от души желаем Юрию Владимировичу после всех мытарств счастливо устроиться в любимой им стране — в Италии. РЕД.

В военкомате майор, начальник третьей части, дал мне «медицинскую карту», в которой было написано, что офицер запаса Мальцев Ю. В. направляется на медкомиссию для установления годности к военной службе в целях воинского учета, и сказал мне, чтобы я поехал на Люсиновскую улицу, где заседает медицинская комиссия.

— Там будет военком, вы пройдите прямо к нему, чтобы не сидеть в очереди с призывниками. Скажите, что вы офицер.

Я так и сделал. Полковник, военком, видимо, знал о том, что я должен прийти. Когда я назвал свою фамилию, он попросил меня посидеть в коридоре и немножко подождать. Чего именно я должен был ждать, я не понял, но подчинился. Вокруг толпились юноши, призывники, проходившие медкомиссию.

Минут через двадцать с улицы вошли высокая женщина средних лет и молодой человек с очень характерной внешностью — я достаточно видел таких среди дружинников, оперативников, комсомольских активистов и т.п. Я узнаю их с одного взгляда. Затрудняюсь определить словами, в чем состоит эта характерность. Пожалуй, в ясно читаемом на их лицах отсутствии какой бы то ни было внутренней жизни, самостоятельного содержания — это серийные люди-автоматы. По тому как оба они — женщина и молодой человек — окинули меня взглядом, проходя мимо, я понял, что они приехали специально по моему делу.

Через несколько минут — время как раз достаточное для того, чтобы снять пальто и надеть халаты — меня пригласили в кабинет невропатолога. Женщина и молодой человек, оба в белых халатах, сидели за столом.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала женщина и указала на стул, который стоял перед столом и был почему-то привязан к нему за ножку веревкой. — Вы подавали заявление о выезде за границу?

— Какое это имеет отношение к моему здоровью? — спросил я.

Такого контрвопроса она не ожидала и опешила, не находя, что сказать.

— Ведь вы врач, не так ли? Почему же я должен отвечать вам на такой вопрос? — сказал я.

— Потому что психиатра должно интересовать все, что

касается вашей жизни, — ответила она. — Вы обращались когда-нибудь раньше к психиатру?

— Нет.

— Вы служили в армии?

— Нет, не служил. Я проходил военную подготовку будучи студентом Университета.

— Скажите, как вы себя чувствуете, какое у вас настроение? Плохое, да?

— Нет, я бы не сказал, что плохое. Настроение у меня сейчас спокойное и ровное.

— Почему же вы хотели уехать за границу? Подумайте только, вам уже тридцать семь лет, а вы еще до сих пор не женаты! Вам тридцать семь лет, а у вас ни кола, ни двора своего. У вас высшее образование, а вы работаете почтальоном на телеграфе. Ну представьте себе, вот я, врач, вдруг пошла бы работать санитаркой, на что это было бы похоже?

— А если бы вас не принимали на работу врачом, что бы вы тогда делали? — спросил я.

— Вы считаете, что вас уволили с вашей работы за то, что вы написали заявление?

— Да, я так считаю.

Она промолчала.

— Ну, а как у вас настроение сейчас, поганое, не так ли? — снова спросила она. Ей непременно хотелось, чтобы я сказал, что у меня плохое настроение. Я, разумеется, этого не сказал.

— Вы совершенно неприспособленный к жизни человек, — продолжала она, — а еще хотели уехать за границу. Если вы здесь устроиться не можете, там бы вы вообще погибли. Вы знаете, что такое капиталистическая действительность! Вы бы там не смогли жить.

— Очень может быть. Но чтобы сравнивать, нужно иметь возможность попробовать. А раз такой возможности у меня нет, нечего об этом и говорить.

— Как это так, бросить свою страну и уехать?! Вы понимаете, что это ненормально? Вы ненормальный человек.

— По-вашему, всякий, кто уезжает из своей страны ненормален? В таком случае вам придется признать ненормальным, например, Ленина. Ведь он уехал из России.

Она промолчала.

— Расскажите мне о своих взглядах.

— Говорить с вами об этом я считаю бессмысленным, — сказал я.

— Что вас привлекает за границей?

— Хотя бы уже одно то, что там человек может ехать куда ему угодно, и его за это не вызывают на допрос к психиатру.

Я посмотрел на нее с нескрываемой ненавистью. Она долго молча наблюдала за мной, потом сказала:

— Идите, и подождите там.

Я вышел и снова стал ждать в коридоре. Теперь мне было все ясно. Всего лишь несколько недель назад меня вызывали на допрос в КГБ, где я отказался дать показания об «Инициативной группе по защите прав человека в СССР», членом которой я был и репрессии против которой начались сразу же после опубликования на Западе обращения в ООН. Заявление же о выезде из СССР я подал еще в 1964 году, долгое время власти пытались его просто игнорировать, когда же я стал заявлять о своем праве уехать все громче и настойчивее, они меня начали преследовать как тунеядца, так как я не состоял на штатной государственной службе, а жил литературным трудом (делал переводы, писал небольшие рецензии и т.п., большего мне не позволяли). Но когда я устроился на работу почтальоном, эта возможность привлечь меня к суду как тунеядца отпала. Допрашивавшая меня женщина, разумеется, все это знала и ее соболезнования по поводу моей неустroенности и ее недоумение были не чем иным, как чистейшим садизмом. Непосредственным поводом для этого вызова к психиатру было, конечно, не то мое давнее заявление, а наше недавнее обращение в ООН.

Я ждал в коридоре довольно долго. Наконец появился военком, он дал мне бланк анкеты и чистый лист бумаги и попросил заполнить анкету и написать автобиографию. Я написал и пошел к нему. В комнате кроме него находился молодой человек, присутствовавший при допросе (женщины уже не было), и председатель медкомиссии.

— Вот что, Юрий Владимирович, вы знаете хорошо итальянский язык. И французский тоже. Мы хотим послать вас в заграничную командировку, как переводчика куда-нибудь. Например, в Египет. Не возражаете?

Я усмехнулся.

— Ни в какую заграничную командировку меня не пустят.

— Не беспокойтесь, если военкомат попросит, то пустят.

— Действительно, вы — молодой парень, почему бы не проехаться, не посмотреть мир? — поддакнул председатель медкомиссии.

Оба они говорили фальшивыми голосами, как незадачливые дилетанты на любительской сцене, и мне стало стыдно, что я должен участвовать в такой дешевой комедии.

— Только нужно подъехать тут еще в одно место, показаться врачу, — сказал военком.

— Жаль только машины сейчас нет, — подал свою реплику председатель медкомиссии.

— Как нет? — вел свою партию военком. Он изобразил удивление так, как его изображают все плохие актеры. — Да возьмите мою и быстренько смотайтесь туда и обратно.

— Пойдем, — сказал молодой человек.

Мы вышли в вестибюль. Гардеробщик отказался выдать мне мое пальто:

— Велено не давать.

Но молодой человек сказал, что он меня сопровождает и распорядился выдать мне пальто. Мы вышли на улицу. У дверей стоял другой молодой человек с не менее характерной внешностью. Наверно, если бы я вздумал бежать, он схватил бы меня здесь. Они оба подвели меня к машине — зеленому военному газику — и, пропустив меня вперед, сели затем сами с двух сторон. Машина тронулась. Мы поехали по Люсиновской, выехали на Загородное шоссе и потом, когда остановились на минутку перед железными воротами, ожидая, пока их откроют, я успел прочесть рядом с воротами табличку: «Психиатрическая больница им. Кашенко».

Мы подъехали к приемному покою. Один из молодых людей провел меня внутрь и сразу же ушел. Двери захлопнулись за моей спиной, щелкнул замок.

— Садитесь сюда, — сказала мне черноглазая женщина в белом халате, указав на кресло с высокой спинкой. Я сел и за моей спиной сразу же выросли два дюжих санитаря, выжидая, не прикажут ли меня хватать за руки. Я чувствовал на своей спине их взгляды — ощущение не из приятных.

Появилась другая женщина, видимо, подчинявшаяся первой: держалась она не с таким апломбом как первая. Она раскрыла толстую книгу и стала записывать туда сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы и т.д.

— Просили вас выделить место получше, положить вас в хорошую палату, — сказала первая женщина.

— Я не собираюсь ложиться ни в хорошую палату, ни в плохую, — сказал я. — Мне военком сказал, что я должен просто подъехать на несколько минут показаться врачу.

— Военком не решает, сколько времени должно длиться обследование.

— А мое слово здесь что-нибудь значит?

— Нет. На вас выписана путевка районным психиатром. Вам придется здесь остаться.

— На какой срок?

— Не меньше чем на две недели.

— Но я не нуждаюсь ни в каком обследовании и не хочу ложиться в больницу. Какое вы имеете право держать меня здесь насильно?

— Вы подавали заявление о выезде за границу? — спросила она вместо ответа.

— Это не имеет никакого отношения к тому, о чем мы с вами говорим, и я не буду отвечать на этот вопрос.

Она посмотрела на меня с неприязнью и я понял, что, если бы даже от нее зависело выпустить меня отсюда или нет, она бы меня ни за что не выпустила.

— Кто полномочен распорядиться о том, чтобы меня отсюда выпустили? — спросил я.

— Старший врач.

— Я хочу говорить с ним.

— Для этого нужно пройти в отделение, а мы туда не пускаем в своей одежде. Вам нужно переодеться. (Это была слишком наивная уловка — достаточно накинуть сверху белый халат, чтобы пройти в любое отделение любой больницы).

— Юрий Владимирович, — мягко увещевала меня другая, — давайте лучше я запишу сначала все данные о вас.

Она говорила с терпеливой снисходительностью, так, как разговаривают с капризными детьми или с тяжело больными.

Она, видимо, искренне верила в то, что я болен. Я представил себе, сколько раз в день она, должно быть, наблюдает подобные сцены и как она, должно быть, привыкла видеть эти последние беспомощные судороги людей, не желающих расставаться со свободой.

Я попросил лист чистой бумаги и написал заявление на имя старшего врача. (Собственно, имени я так и не узнал, женщина сказала, что она его не помнит! Приемы типично кагебешные, хоть она и в белом халате. И чистой бумаги она мне тоже не дала: сунула клочок с какими-то зачеркнутыми пометками и кляксами). Я указал в заявлении, что меня обманом завезли в больницу и требовал, чтобы меня либо немедленно выпустили, либо ясно объявили по какому праву меня насильно задерживают. — Пока не получу ответа, — сказал я, — я не разденусь и не пройду в больницу.

— Хорошо, отвезите его в отделение прямо так, в пальто, — сказала женщина санитарам.

Два санитары усадили меня в санитарный фургон и мы поехали по огромной территории больницы в 5-ое буйное отделение. И здесь то же, едва я ступил в вестибюль, дверь за моей спиной захлопнулась на замок. Все двери здесь были на замке, у каждого санитары свой ключ.

Меня ввели в небольшой коридор, тускло освещенный двумя матовыми лампами — день был пасмурный и, если бы не эти лампы, то здесь было бы совсем темно. Три окна с левой стороны коридора выходили в маленький внутренний дворик, с двух сторон ограниченный зданиями, а с двух других обнесенный высоким сплошным забором из бетонных плит. На окнах решетки, покрашенные белой краской. С правой стороны коридора две двери вели в две небольшие палаты, тесно уставленные койками. По обеим сторонам коридора вдоль стен тоже стояли кровати. В нос мне ударил тяжелый запах. Такого зловония мне не приходилось встречать еще ни в одной из больниц. Неужели мне придется дышать этим смрадом? — подумал я в отчаянии.

— Это что еще за новость? — спросил один из местных санитаров. — Что это вы его прямо одетым притащили?

— Отказался переодеваться, — ответил один из привезших меня санитаров.

Другие санитары собрались посмотреть на меня. Пришла молоденькая медсестра, посмотрела на меня и фыркнула:

— Господи, что у вас здесь происходит? Это что еще за номера?

Наконец, появился старший врач отделения, пожилой человек в очках с небольшими черными усиками.

— Вам придется остаться здесь, — сказал он. — Я не имею права вас выпустить. Раз вас сюда доставили, уже никто вас не может выпустить, пока не будет заключения врачей. Если вы будете сопротивляться, мы вынуждены будем прибегнуть к силе.

— Если я не ошибаюсь, — сказал я, — по закону вы принудительно помещать в больницу можете только буйных больных, представляющих опасность для окружающих?

— Ошибаетесь, — сказал он.

— И спокойных тоже?

Он кивнул.

— А если вы сочтете меня больным, вы также принудительно сможете держать меня здесь дальше и лечить?

— Да. Если мы найдем нужным проводить какое-нибудь лечение, мы будем проводить его принудительно.

— Сколько же мне придется пробыть здесь? — спросил я.

— Обследование продлится не меньше двух недель. Если вы будете хорошо себя вести, я переведу вас отсюда в более спокойную палату. Вечером сможете выходить в зал смотреть телевизор, опять-таки, если будете хорошо себя вести.

— Каким образом я могу сообщить домой родным о том, где я?

— Вы можете написать им письмо и отдать его дежурной сестре.

Мне не оставалось ничего другого как подчиниться. Я разделся, сдал часы, авторучку, деньги, паспорт. Надел больничную пижаму, утешая себя мыслью, что я все же попал в Кашенко, а не в спецбольницу, куда обычно помещают политических и об ужасах которой я был наслышан.

Как та женщина, что строго допрашивала меня в военкомате, так и та, что говорила со мной в приемном покое, ходили скорее на твердолобых чиновниц, рьяно исполняющих полученные приказания, чем на врачей. Этот мужчина, старший врач, был первым, кто внушил мне некоторое доверие.

Санитар показал мне мою койку в палате. В палату вела толстая железная дверь со смотровым окошком, в двери замок. Как я потом убедился, единственной здесь не запирающейся дверью была дверь, которая на воле как раз обычно запирается изнутри — дверь в уборную. И в ней тоже было смотровое окошко. Не было такого уголка, где бы больной мог уединиться. Каждый больной должен постоянно находиться в поле зрения санитаров — таков принцип этой больницы. Когда наступало время принятия пищи, санитары выводили всех больных из палаты в столовую, а пустую палату запирали. После обеда всех больных снова перемещали в палату, а двери столовой запирали.

Я вошел в палату. Небольшая комната была сплошь уставлена кроватями — не оставалось места даже для маленькой тумбочки. На окне решетка. Матовая лампа под потолком излучает тусклый желтый свет. Слева мою кровать отделяет от соседней узенький проход шириной в ладонь. Справа другая кровать придвинута вплотную к моей, на ней сидит молодой человек с тяжелой дегенеративной челюстью и, устремив взгляд куда-то вдаль, чертит в воздухе рукой какие-то непонятные знаки. Не придушил бы он меня сегодня ночью, мелькает у меня мысль. Я замечаю у него на груди и на руках наколки, какие обычно можно видеть у блатарей. На других койках лежат навзничь люди с неподвижными бледными лицами. Они спят каким-то нездоровым мертвецким сном. Потом я увидел, что эти люди спят так почти весь день непрерывно, находясь под действием лекарств, а в остальное время вяло передвигаются, медленно говорят, с опозданием и как бы нехотя на все реагируют. Воздух в палате был еще более тяжелым, и я вышел обратно в коридор, сел на скамейку у двери. Время тянулось медленно и тоскливо. За окном совсем стемнело. Я начинал терять чувство реальности. Мне начинало казаться, что все это лишь кошмарный сон. В желтом свете плавали клубы дыма (больные курили прямо в палате). Вырастая из дыма ко мне медленно приближалась странная фигура в желтой пижаме с желтым мрачным лицом в глубоких морщинах. Лицо было неподвижно и на нем словно застыло выражение душевной муки. Густые, давно не чесанные волосы торчали во все стороны. Он остановился рядом со мной и устремил

на меня неподвижный тяжелый взгляд. Другой человек, с красной физиономией, подбегает ко мне и спрашивает:

— Ну как там, много еще свеклы осталось?

Я смотрю на него и ничего не отвечаю. Он обижен моим молчанием:

— Эх, сволочь ты, сволочь! Мало здесь без тебя тунеядцев, еще тебя к нам прислали!

Санитар отгоняет от меня обоих, садится рядом со мной на скамейку и спрашивает:

— О чем задумался?

— Думаю, скоро ли удастся отсюда выбраться.

— А ты как сюда попал?

Я рассказал. Он удивленно качает головой.

— Это что-то странное, — говорит он. — Недавно у нас тут лежал тоже один переводчик. Семь языков знал в совершенстве. Очень образованный человек был. Он написал письмо в ЦК с просьбой разрешить ему осуществить построение коммунизма в одном доме. Ну, его, конечно, к нам и привезли. Он убеждал, что сможет построить коммунизм уже сегодня в одном отдельном доме. Так вот кажется, действительно, бред сумасшедшего — коммунизм в одном доме. А вы бы послушали, как он об этом говорил, так он бы и вас убедил. Ей-Богу. Замечательно говорил!

— И долго его здесь держали?

— Месяца два, не то три.

Рядом на койке неподвижно сидит человек, сложив руки на коленях, и бессмысленно смотрит перед собой застывшим взглядом. У него неестественно вытянутая голова, как чарджуйская дыня. К нему подходит санитар:

— Ложись!

Человек продолжает неподвижно сидеть и бессмысленно смотреть в одну точку.

— Ложись, говорю! — раздраженно повторяет санитар. Человек не реагирует.

Никакой реакции. Санитар ударом в скулу укладывает его в постель. Человек некоторое время остается лежать неподвижно, потом поднимается как «ванька-встанька» и сидит в прежней позе.

На другой койке беспокойно ворочается изможденного вида человек и что-то бормочет. Он привязан к кровати двумя

полотенцами за руки. Лежит он на клеенке, такой, какую кладут обычно в кроватку маленьким детям. Кальсоны его мокры.

Делая мне знаки украдкой от санитаров, меня отзывает в сторону пожилой мужчина с испитым измученным лицом и, глядя на меня лихорадочно блестящими глазами, заговорщически спрашивает:

— Ты знаешь, где мы находимся?

— В пятом отделении.

— Чего? Какое там пятое! Мы на Смоленской площади, на четырнадцатом этаже. Понял? Только тссс! Тихо!

— А ну, живо на место! — кричит на него санитар и пинками прогоняет его прочь.

Я вспоминаю, что единственный дом на Смоленской площади, в котором есть четырнадцатый этаж — это Министерство иностранных дел. Странная мысль! Это — типичная белая горячка на почве алкоголизма. Потом этих белогорячечников я увидел столько, что перестал им удивляться. Один, на вопрос как он сюда попал, отвечал: «Да представляешь, прихожу я домой, захожу к себе в комнату, смотрю — а там полно тигров!» Другой, ползая на четвереньках, ловил медвежонка. Третий отыскивал у себя в постели змей и швырял их на пол. Санитар спокойно наблюдал за ним, пока тот не начинал вытаскивать резинку из брюк — «змея заползла в штаны» — но на этом санитар всякий раз пресекал его деятельность.

Почти каждый день привозили кого-нибудь с белой горячкой. После больших праздников ежедневно привозят по несколько человек. Если вспомнить, что больница им. Кащенко обслуживает лишь один район Москвы и что в городе еще несколько таких больниц, то картина вырисовывается довольно мрачная.

Наконец, нас пригласили в столовую. На ужин молочная лапша. В мутного цвета жидкости, отдаленно напоминающей молоко, плавает на доньшке несколько лапшинок. Я целый день ничего не ел и, чтобы хоть как-то утолить голод, съедаю почти весь хлеб, который лежит на столе и предназначается для четырех человек — благо соседи не возражают. Один из них даже дает мне два кусочка сахара.

Подоконник в столовой весь исцарапан и исписан. Надписи все одного содержания. «Домой хочу!» (Меня поразила

эта эмоциональная инверсия: не «хочу домой», а «домой хочу!»). Рядом кто-то приписал: «И я тоже!» Как видно, все здесь думают об одном. Но вот другая надпись, загадочно непонятная: «Дайте ХБ!» Смысл ее мне разъяснился позже.

Настает ночь. Я ложусь на свою койку. Прямо в глаза светит все та же никогда не гаснущая матовая лампа. Чтобы спастись от нее, натягиваю на лицо одеяло. На соседней кровати пожилой мужчина, похожий на толстую старуху — есть в нем что-то дряблкое, бабье — мечется во сне, громко стонет и что-то бормочет. Заснуть не удастся. Вдруг сосед просыпается и громко восклицает:

— Секир башка!

— Секим башка значит: золотая голова, — неожиданно отзывается лежащий в другом конце палаты татарин.

После небольшой паузы мой сосед снова с горячим пафосом восклицает:

— Секир башка!

— Секим башка значит: золотая голова, — снова говорит татарин.

— Секир башка! — еще громче восклицает мой сосед.

К нему подходит санитар

— А ну замолчи сейчас же и спи!

— Не могу же я круглые сутки спать! Я уже выпался.

— Тогда лежи тихо и молчи, не мешай другим.

— А я не мешаю.

— Замолчи, говорю!

— «Молчи, молчи». Чего молчать?

— Ты замолчишь или нет, сволочь?

Раздается звук пощечины.

— Чего дерешься? Я встать хочу.

— Лежи тихо!

Сосед протягивает руку и кладет ее мне на плечо.

— А ну, не лезь к нему! Убери руку!

Снова раздается пощечина.

— Я думал, ты человек, а ты — дерьмо, — говорит санитар. — Сейчас получишь укол сульфазина.

Угроза действует. Сосед замолкает. Я думаю, что теперь, наконец, смогу заснуть. Но не тут-то было. В углу на лавке усаживаются два санитары и начинают разговаривать в полный голос. Они громко смеются и курят, отравляя и без того во-

нющий воздух. Более всего меня удивило то, что санитары курят прямо в палате. Но потом я еще больше удивился, когда увидел, что многие санитары приходят дежурить в ночную смену (когда не бывает врачей) навеселе. Так что не будет ничего странного в том, если однажды кто-нибудь из санитаров придет сторожить белогорячечников сам с белой горячкой.

Я, наконец, не выдерживаю и прошу санитаров дать мне снотворное. Один из них нехотя идет к дежурной медсестре и через несколько минут возвращается с лекарством. Я выпиваю его. Вскоре приятная дремота сковывает меня и я засыпаю.

Утром я просыпаюсь оттого, что чувствую на себе чей-то взгляд. Я открываю глаза. Надо мной стоит смуглый черно-волосый молодой человек (цыган, как я узнал после) и, глядя на меня, смеется. Спросонья я не могу понять, в чем дело. Молодой человек продолжает смотреть на меня и смеяться. Я смущаюсь, но все еще не могу понять в чем дело. Осматриваю свое одеяло, постель — что он видит во мне смешного?

— А ну, перестань смеяться! Отойди от него! — говорит санитар.

Молодой человек послушно отходит от меня, но, отвернувшись к стене, продолжает смеяться. Потом я часто наблюдал, как на него ни с того, ни с сего находили приступы смеха.

После завтрака меня вызывают в кабинет врача. Там меня принимает тот самый старший врач отделения, с которым я объяснялся накануне. Как я уже узнал, его зовут Константин Максимович. Он делает вид, что мы видимся впервые (проверяет мою память), но я, разумеется, сразу же напоминаю ему о вчерашнем нашем разговоре. Мне кажется странным, что он старается добросовестно исполнять весь ритуал врачебного освидетельствования. Разве ему не ясно, почему меня привезли сюда? Он подробно расспрашивает меня, чем я болел, чем болели мои родные, где я работал и чем занимался в своей жизни, каков я в отношениях с людьми. Особенно выделяет вопрос о том, были ли у меня периоды душевной подавленности и бывали ли у меня мысли о самоубийстве. Потом стучит молоточком мне по коленкам, просит закрыть глаза и вытянуть руки с растопыренными пальцами и т.п. В заключение он спрашивает:

— Ну вот, скажите мне теперь, как вы думаете, почему вы попали к нам?

— Я думаю, и если вы не дадите мне другого убедительного объяснения, буду думать и впредь, что причины моего помещения в больницу чисто политического характера.

— Нет, вы ошибаетесь. Так не бывает.

— Мне известны многие случаи, когда людей помещали в психиатрические больницы за политические высказывания. Например, я близко знаком с генералом Григоренко, знаю его как человека вполне здорового, и все же он больше года находился в психиатрической больнице за выступление против политики Хрущева.

— Мне неизвестно то, о чем вы говорите, — сказал Константин Максимович, — но думаю, что такого не может быть. Ведь решает вопрос не один врач, а целая комиссия. Не могут же все они работать на КГБ? (почему не могут? — подумал я — не только могут, но должны).

— Я не знаю, помещали ли кого-нибудь из политических к вам в Кашенко, но мне известно, что существуют специальные больницы, где подобран соответствующий персонал, — сказал я.

Константин Максимович с сомнением покачал головой.

— Вы забываете, что у врача есть еще и совесть.

— Видите ли, врачу в этих случаях очень легко успокоить свою совесть. Ведь человек, который вступает на путь единоборства с властью, вынужден вести такую трудную жизнь, он постоянно живет в таком напряжении, что это, разумеется, не может не сказаться как-то и на состоянии его психики.

— Наша задача как раз и состоит в том, чтобы определить, что же здесь причина, а что следствие. Ну, хорошо, на сегодня все, — сказал Константин Максимович. — Я лично не нахожу в вас ничего ненормального. Но, вы понимаете, что решаю вопрос не я один. Вас посмотрят другие врачи. Покажем вас профессору и тогда решим. А пока идите.

Я сказал ему, что не спал почти всю ночь, потому что мне попался беспокойный сосед, и попросил его, если можно, перевести меня в другую палату. Он сказал, что сейчас же распорядится, чтобы меня перевели на спокойную половину, так как он уже убедился, что я человек вполне здравомыслящий. Мне хотелось верить, что он честный человек. Но, если

даже он человек честный, думал я, он, наверно, дорожит своим местом и, конечно, сделает все, что ему прикажут сверху.

Так называемая «спокойная половина», где находились менее тяжелые больные или больные, заканчивающие лечение, и куда меня перевели, состояла из точно такого же небольшого коридора с тремя окнами и примыкающими к нему двумя небольшими палатами, густо уставленными кроватями. Она соединялась с беспокойной половиной общей для них столовой. И здесь тоже кровати в коридоре вдоль стен, решетки на окнах. И тот же тяжелый вонючий воздух. И те же никогда не гаснущие матовые лампы, и двери на замках. А выздоравливающие больные, как я вскоре убедился, ничуть не тише беспокойных, а наоборот еще более шумливые. Но только здесь не санитары, а санитарки и поэтому зуботычины на этой половине не практикуются. Бедным санитаркам остается только чисто словесное воздействие, и приходится им нелегко. Больные, пользуясь своим положением «психов», которым все прощительно, без всякого смущения поносят женщин матом. «Пошла ты на х...» — слышится то и дело. Но санитарки не остаются в долгу и без стеснения отвечают тем же. За словом в карман не лезут.

Я стал знакомиться с окружающими людьми. Прежде всего мне бросилась в глаза экзотическая фигура негра с темной гривой выющихся волос и необыкновенно красивыми, такими «нездешними» глазами, подернутыми томной поволокой, с отливающими синевой белками. Этот как здесь очутился? Я спросил, откуда он. Мне сказали, что из Сомали. Сомали бывшая итальянская колония. Я подошел к нему и спросил по-итальянски:

— Простите, вы говорите по-итальянски?

— Да, говорю очень хорошо, — обрадованно сказал он. И мы стали беседовать по-итальянски. Мы проговорили с ним почти весь день, сидя на койке. Это было очень пикантно: попасть в Кашенко за то, что хотел уехать в Италию, и говорить здесь по-итальянски! Я расспрашивал его об Африке. Он охотно рассказывал. Его отец — владелец банановой плантации. Он приехал сюда три года назад учиться в сельскохозяйственной академии. Он не раз бывал в Риме, Венеции, Неаполе, Милане — объездил всю Италию, был во Франции, в Германии, в Польше. Он приехал из страны, где не употребляют спиртных

напитков и не знают, что такое алкоголизм (Коран запрещает), и здесь за три года допился до белой горячки.

— Как относятся сейчас в Африке к Советскому Союзу? — спросил я.

— Чешские события оттолкнули от вас очень многих. Помоему, это была огромная ошибка вашего правительства, которая будет еще иметь серьезные последствия.

— Ну, а до этого как относились к нам? Ведь ваше правительство, если не ошибаюсь, занимает антизападную позицию?

— Да, антизападную, но и не просоветскую. Мы хотим быть самостоятельными и идти своим путем. Я видел очень многих африканцев, которые жили в Советском Союзе и учились здесь, но я не встречал ни одного такого, который говорил бы, что ему здесь понравилось и что он хотел бы для своей страны того же, что он увидел здесь.

— Ну, это интеллигенция, а как простой народ? Наверно, они верят, что здесь у нас рай?

Он отрицательно покачал головой.

— Мне помнится один смешной случай, — сказал он. — Как-то советский посол поехал на своей машине в окрестности столицы, сбился с дороги и застрял в песке. Вокруг машины собрались крестьяне. Они сразу узнали в нем русского. «Помогите мне выехать на дорогу», — попросил посол. «Хорошо, садитесь в машину, мы будем толкать». Посол сел за руль. Крестьяне сгрудились вокруг машины и стали кричать: «Вперед! Поможем другу! Мы все делаем для наших друзей!» Но машина не двигалась с места. «Что ж вы не толкаете?» — спросил посол. «Как?! Мы помогаем вам изо всех сил! Мы всей душой с вами! Мы ваши самые верные друзья!» — кричали крестьяне, повторяя стандартные лозунги московского радио, вещающего на Африку. Посол знал сомалийский язык и все понял. Он молча отправился пешком к ближайшему телефону. Вообще, русских у нас не любят. Те русские, которые приезжают к нам, как правило, люди очень несимпатичные. Они замкнуты, недоверчивы и неискренни. Ходят всегда группами по несколько человек, никогда не бывают в домах у сомалийцев. Почти все они не знают языков и говорят всегда через переводчика. К тому же, они очень жадны: закупают в магазинах массу вещей и при этом всегда долго торгуются... Скажите,

синьор Юра, у вас если человек хочет поехать работать в Африку, например, к нам в Сомали, он легко может завербоваться?

Я усмехнулся.

— У нас власти сами решают кому и куда ехать, кого можно посылать, а кого нельзя. Человеку предлагают, и он, конечно, соглашается, потому что за это хорошо платят и можно привезти много заграничных вещей. Именно потому что власти решают, кому можно ехать, и сами подбирают людей, вы и видите у себя русских людей лишь одного определенного сорта.

Он удивился:

— А я думал, все они просто сами приезжают к нам. А знаете, китайцы гораздо хитрее, чем вы. Они умнее ведут себя. Почти все приезжающие к нам китайцы говорят по-английски или по-французски, а некоторые даже по-сомалийски. Они ходят в гости к сомалийцам. Держатся очень приветливо и любезно.

— Вы можете свободно читать любые газеты? Можно, например, подписаться на «Таймс» или «Монд»? — спросил я.

— Конечно, мы можем читать любые газеты.

— И Би-би-си у вас не глушат?

Он засмеялся.

Привлеченные необычным звучанием чужой речи, вокруг нас собрались любопытные.

— Не люблю я этих черных, — сказал один из них, молодой парень, шофер (как я узнал потом). — Наш хлеб жрут паразиты.

— Я плачу за ваш хлеб, — отозвался Осман (так звали сомалийца).

— Чего там ты платишь! — оборвал его другой парень, рабочий, какого-то завода. — И учат тебя бесплатно. Место занимаешь. А вот я, попробуй поступи — черта с два!

— И за учение я плачу. Я за все плачу, — пытался уверить их Осман.

— Ребята правду говорят, — вмешалась санитарка, — понаехало их столько, что все места позанимали в институтах. А наши вот ребята, такие как он, из-за них поступить не могут. Оставайся простым работягой. Он, конечно, учиться может: у него отец богат. А бедный человек не может к нам

приехать. Вот он выучится и поедет эксплуатировать. Ты бы лучше часть денег отдал бедным, помог им. А то сам, небось, в роскошном доме живет, а бедняков змеи жалят. Я видела по телевизору, сколько крестьян погибает от змей, просто ужас! Потому что живут в хижинах. А вы хоть бы больницу им построили. Вам и дела до них нет, пусть их змеи едят!

— Вот ты скажи мне, ты, негр, женишься на русской? — спросил шофер, глядя на Османа с ненавистью.

— А почему бы нет?

— Врешь ты! Вы только гуляете с нашими девочками. А потом бросаете.

— Верно, — поддакнул рабочий. — Знаешь, сколько ваших черных вешают в парке Горького? Каждую ночь какого-нибудь негра ловят с девочкой и вешают.

— Чушь ты говоришь! — воскликнул Осман.

Все вокруг зашумели, заспорили. Большинство защищало молодых парней — шофера и рабочего.

Совсем молоденький паренек с живыми умными глазами и приятным лицом подошел ко мне знакомиться.

— Вы военный или штатский? — спросил он.

Я удивился такому вопросу.

— Штатский. А что?

— Я так спросил потому, что здесь половина военных, — сказал он. — Все солдатики-самоубийцы: вешанные, резанные. Кого здесь только нет! Вы увидите. Неплохая характеристика нашей армии, не так ли? — он засмеялся. — Я тоже солдат. Вешался. Успели снять во-время. (Я потом говорил с некоторыми из этих солдат, молодыми ребятами лет по девятнадцать-двадцать. Почти все они симулировали самоубийство, то есть совершали заведомо неудачную попытку самоубийства, чтобы освободиться от армии. Впрочем, были и не самоубийцы: один, например, обстрелял из автомата свой собственный штаб, который его поставили охранять. Другой, когда его позвали на собрание, заявил: «Е..ал я ваш комсомол!» Все они сходились на том, что армия — это ужасно. Еще хуже, чем Кашенко: плохо приготовленная пища на искусственных жирах (ко второму году службы почти у всех больные желудки, у многих язвы), недостаточный сон, тяготы службы, а главное — непрерывная муштра и постоянное унижение человеческого достоинства со стороны всех вышестоящих).

Этот-то юноша и объяснил мне, что означает загадочная надпись на подоконнике: «Дайте ХБ! ХБ — так называют солдаты свою форму (она из хлопчатобумажной ткани). В ней они поступают сюда и в ней же, комиссованные, выходят отсюда и едут домой. Так что «дайте хб!» — значит: «Дайте свободу!»

Узнав, что я литератор, юноша (его звали Ян) очень обрадовался. Он поступал на филологический факультет, но не прошел и попал в армию. Мы потом подолгу говорили с ним о литературе. Я читал ему наизусть стихи Цветаевой, о которой он только слышал, Пастернака, которого он знал плохо, и Мандельштама, который был ему вообще неизвестен. Он же, в свою очередь, читал мне стихи Евтушенко и Вознесенского, а я доказывал ему, что все это дешевка. В конце концов, кажется, мне удалось его убедить.

Я расспрашивал Яна (я не буду называть ничьих фамилий, так как не хочу повредить этим людям) неужели ему не было страшно вешаться.

— Нисколько. В том-то и весь ужас, что это так легко сделать, — сказал он. — Самое страшное, что это совсем не страшно. Смерть кажется желанным избавлением, а жизнь — отвратительной и невыносимой.

— Я всегда думал, — сказал я, — что человек, кончающий самоубийством, должен обладать большой силой воли. Ведь побороть страх смерти — это нелегко.

— Нет, это совсем не так. Смерть не страшна, когда жизнь невыносима.

— У меня тоже бывали очень тяжелые моменты в жизни, когда я не видел для себя впереди никакого выхода, — возразил я, — когда жизнь казалась просто ненужным бременем, и все же даже в эти моменты смерть казалась мне страшной.

— Это наверно потому, что вы нормальный человек, — сказал Ян, — а ведь я все-таки закрученный. («Закрученный» на кашенском жаргоне означает помешанный).

Ко мне подошла старшая медсестра:

— А, новенький! Ну, идите сюда, давайте знакомиться. Вы как к нам попали?

— Я хотел уехать за границу.

— Ааа, ну ничего, полежите у нас, вас вылечат, — сказало она успокаивающе. Я посмотрел на нее с удивлением.

Вылечат от желания поехать за границу? Кто же из нас двоих сумасшедший: я или она? Нездоровым ли считать человека, который хочет поехать в страну, которая его интересует, или же нездоровая обстановка в стране, где такое желание считается преступным?

Через день меня снова вызвали во врачебный кабинет. Там были все врачи отделения, человек пять или шесть, но говорил со мной некий упитанный и лощеный молодой человек — по виду молодой преуспевающий карьерист какого-нибудь привилегированного заведения (таких можно видеть в МИД'е, в Академии внешней торговли, в Министерстве культуры и т.п.) Как я узнал потом, это был ассистент профессора Морозова. Он попросил меня подробно рассказать, каким образом я попал к ним в больницу. Я рассказал.

— Но кто же была эта женщина, которая допрашивала вас в военкомате, не из КГБ ли она? — спросил он с деланным сочувствием и заговорщически переглянулся с другими врачами.

Неужели он считает меня таким дурачком? — подумал я и ответил:

— Мне не сказали, кто она такая, и мне об этом ничего не известно.

— Ах, ну да, конечно, — спохватился он, словно случайно, по ошибке задал мне такой нелепый вопрос.

Впоследствии я имел возможность убедиться, что многие больные считают себя преследуемыми со стороны КГБ, утверждают, что их помещение в психбольницу — дело рук КГБ. Там, где в их памяти оказываются провалы и они не могут найти логической связи между предшествовавшим и последующим, находится простое объяснение: козни КГБ. (Например, один инженер объяснял вмешательством КГБ тот факт, что, когда он, находясь в командировке в другом городе, почувствовал себя плохо, и какие-то незнакомые люди посадили его в первый попавшийся поезд, в Москве на вокзале его встречала жена, непонятным образом узнавшая о его приезде, а его записная книжка, которую, как он точно помнил, он оставил в номере гостиницы на столе, оказалась почему-то у жены. Другой больной, графоман и шизофреник, рассказывал мне, что КГБ не только не допускал печатания его стихов, которыми он непрерывно наводнял редакции, но и установил за ним такую слежку, что даже когда он, например, опускал

монету в телефон-автомат и монета проскакивала мимо копилки и выпадала обратно, то в трубке раздавался нормальный гудок — это КГБ хотел проверить: воспользуется он этим, чтобы позвонить таким недозволенным способом или не воспользуется. Разумеется, КГБ ко всем этим историям совсем не причастен, но любопытно мнение об этой организации, которое живет в умах.)

Но вернусь к разговору с ассистентом профессора.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он, — а вы, прежде чем подать ваше заявление о выезде, спрашивались о том, какие существуют законы на этот счет?

— Да, я специально интересовался этим. Советские законы обходят этот вопрос молчанием. Они не говорят ни да, ни нет. Зато в подписанной советским правительством Декларации прав человека ясно говорится, что каждый человек имеет право уехать из своей страны и изменить подданство.

— Вы, наверно, очень остро переживаете несправедливость?

— Да, я не выношу несправедливости. Так же как и неволи, — я показал на решетку.

— К сожалению, мы ничем не можем облегчить вашу участь. Вам придется пробыть здесь по крайней мере месяц. Потому что ваш случай очень сложный и вас будет смотреть сам профессор.

Сложность моего случая, видимо, состоит в том, подумал я, что во мне пока что не находят ничего ненормального, а найти придется.

— Официально считается, что вы находитесь у нас на военной экспертизе, — прибавил ассистент, — и времени на такое обследование дается месяц.

— Когда же меня будет смотреть профессор? — спросил я.

— В самый ближайший из его смотровых дней. Обычно он приходит в это отделение по вторникам.

У меня стали брать всевозможные анализы: анализ крови, мочи, кровь из вены и т.д. Прошло несколько дней и меня вдруг снова позвали в процедурную и стали брать кровь на анализ.

— У меня ведь уже брали кровь, — сказал я.

— Это для другого анализа, — ответила сестра.

Я украдкой заглянул в бумажку, на которой она писала

мою фамилию, там значилось: анализ крови на сахар. Я стал расспрашивать больных, брали ли у них анализ крови на сахар. Оказалось, что ни у кого не брали. Тогда я подошел к другой сестре и стал выпытывать у нее, для чего берут анализ крови на сахар. Она сказала, что обычно анализ крови на сахар берут у них тогда, когда собираются колоть инсулин.

Я уже заглядывал в инсулиновую палату и видел, что это такое. Один бьется в судорогах с закатившимися глазами. Он привязан к кровати за ноги и за плечи, но тело его все равно судорожно изгибается, и два санитары садятся на него верхом, придерживают ему язык щипчиками. Другой, тоже привязанный к кровати, смотрит вокруг безумно вытаращенными глазами и все время кричит. «Ну, падлюки, гады, что же вы со мной делаете, а?! Совсем убить меня хотите, да? Ну ладно, ладно... Дура, ты, дура! (Это, глядя на стоящую рядом молоденькую сестру.) Я такую как ты е...ал. И вот такую тоже. Я многих баб е...ал! ...Пустите меня сейчас же, б... ди!... Кто из вас читал Руставели? Никто! Я один читал Руставели!» Неожиданно он начинает петь. Я спрашиваю у сестры, понимает ли он, что с ним происходит, и отдает ли себе отчет в том, что он говорит. Нет, все это бессознательно, отвечает она. А между тем, он видит окружающих его людей и даже отвечает на вопросы. Какое странное состояние сознания! И какая возможность, при желании, вытащить из человека все, что таится у него в душе. Я потом, когда он приходил в сознание, расспрашивал этого больного: помнит ли он хоть что-нибудь из того, что он только что кричал или о чем его спрашивали? Он говорил, что ничего не помнит. Уколов инсулина делают более сорока, по одному уколу в день. И каждый день судороги, каждый день вопли. Я стал припоминать все, что я слышал раньше о шоковой терапии: бывают смертельные случаи, (человек не выходит из шока), бывает, что человек остается слабоумным (не знаю, насколько верны эти сведения). Неужели мне придется пройти и через это? Страх холодом прошел у меня по спине. Я начал нервно ходить по коридору, как пойманный зверь в клетке.

Снаружи постучали по водосточной трубе. Пришли мои друзья, Петр Якир и Юлий Ким. — Они стояли под окном. Им удалось, наконец, узнать, где я. Свидания здесь разрешаются лишь раз в неделю: по воскресеньям с 11 до 13 часов.

Я взобрался на подоконник, открыл форточку и сквозь решетку прокричал друзьям самое необходимое. Упомянул, конечно, и о возможности уколов инсулина. Они заверили меня, что немедленно начнут действовать. Потом я узнал, что в тот же день кто-то из них встретился со знакомыми иностранными журналистами. Мой случай получил огласку. Если не ошибаюсь, о нем стало известно также генеральному секретарю Европейского объединения писателей Джанкарло Вигорелли, с которым я виделся однажды здесь в Москве.

Через несколько дней весь медперсонал вдруг переполошился — в отделение пришел главный врач больницы. Он быстро прошел по коридору, бросив общее «здравствуйте, товарищи», заглянул в процедурную и скрылся во врачебном кабинете. Через несколько минут туда позвали меня. Главный врач спросил меня, как я себя здесь чувствую. Был очень любезен и заботлив. Когда я вышел из кабинета, удивленные санитарки стали осаждать меня вопросами: почему меня вызывали и зачем. Что же я за важная птица такая, если мною персонально занимается сам главный врач больницы! Но я не хотел откровенничать с ними: все они были простые и добрые женщины, но в их обязанности входило давать отчет о том, как ведет себя больной и что он говорит.

Прошел вторник, но профессор не пришел смотреть меня. Медленно тянулись дни один за другим, а профессор все не появлялся. Неподвижная жизнь в небольшом запертом помещении и отсутствие свежего воздуха (за все время, что я находился в больнице, санитары выводили нас погулять во внутренний огороженный дворик всего четыре раза) действовали расслабляюще. Непрерывный шум: больные все время громко разговаривали, кричали, гремели костяшками домино, иногда дрались между собой — не давал ни минуты покоя. Самые беспокойные из больных не переставали шуметь часов до одиннадцати-двенадцати ночи, и в пять-шесть утра начинали шуметь снова.

Всю ночь горевшие лампы тоже мешали заснуть. Мне удавалось поспать всего часов пять-шесть. Я чувствовал, что слабею с каждым днем. Ноги подкашивались от слабости. Сказывалось, конечно, еще и то, что я жил в постоянной тревоге, ожидая все новых неприятностей (вроде инсулина) и совершенно не зная, что меня ждет в будущем.

Как-то вечером санитарка натирала паркет в коридоре и во врачебном кабинете. Я вызвался ей помочь. Я зашел в кабинет и, растирая пол щеткой, стал внимательно осматривать все вокруг, надеясь подсмотреть что-нибудь для меня интересное. Но все бумаги были спрятаны в столы и заперты на ключ. На стене над умывальником висело большое зеркало. Я заглянул в него и впервые за много дней увидел, как я выгляжу: осунувшееся, пожелтевшее лицо, обросшее густой щетиной. Типичный вид узника.

— Как у нас здесь душно и тесно, — пожаловался я как-то одной из санитарок.

— Эх, милоч, это разве душно! Ты бы побыл вон там, — она показала на второй этаж, где помещались хронические больные, — тогда бы говорил. Палату, вот эту, там в семь утра запирают на весь день и все больные по коридору так и ходят стопочками. Потому что сесть негде. А народу там столько, что на ночь в столовой ставят тридцать раскладушек, и во всех проходах тоже — в коридоре, вот здесь и в палатах. А днем они вот прямо стопочками так и ходят по коридору, так и ходят.

Я представил себе эту фантастическую картину: по коридору, который всего метров пятнадцать длины и три ширины, целый день прохаживаются несколько десятков человек «стопочками»!

Вечером, после ужина, правда, отпирали дверь в зал — довольно большую комнату с четырьмя столами, за которыми больные играли в шашки, в домино или в шахматы. Я всегда первым устремлялся сюда, чтобы глотнуть хоть немного относительно свежего воздуха: целый день здесь почти никого не бывало, лишь врачи вызывали сюда по одному своих подопечных больных для бесед. Но минут через двадцать воздух в зале перемешивался с вонючим воздухом, идущим из коридора и палат, к тому же сюда сразу сбегались больные, и дышать здесь становилось так же трудно, как и в палате.

Телевизор, о котором упомянул в первый день Константин Максимович, находился в ремонте. Его заменяло другое развлечение: санитары извлекали из шкафа допотопный патефон и стопку старых заезжанных пластинок. Одна пластинка была особенно интересна: воронежский хор исполнял бравурно патристическую песню сороковых годов, и удивительным было

то, что иголку всякий раз заедало на слове Сталин. Если мембрану не подтолкнуть рукой, то пластинка продолжала до бесконечности крутиться на одном месте и хор гремел: Сталин-сталинсталинсталинсталинсталин... Эта пластинка служила источником своеобразного развлечения. Больные приглашали кого-нибудь из санитарок «послушать музыку» и заводили эту пластинку. Санитарка, послушав некоторое время это удручающе монотонное славословие мертвого вождя, наконец, не выдерживала и просила передвинуть иголку.

— А-а-а! Нервы не выдержали! — ликовали больные. — Ее тоже лечить надо. В палату ее, к больным. Снимайте с нее халат!

Когда телевизор принесли, наконец, после ремонта, все больные жадно сгрудились вокруг него, как изголодавшиеся по вестям с земли люди, заброшенные на какой-нибудь необитаемый остров. Это был старый телевизор с крохотным экраном. Он поработал минут двадцать и умолк. Его попробовали починить своими силами. Он заработал, но работал плохо: изображение мутнело, искажалось, исчезало совсем, потом появлялось испещренное полосами и т.д.

Ян сказал мне, что здесь, среди нас, есть еще один литератор — Женя с телестудии. Он познакомил меня с ним. Женя повздорил в ресторане с каким-то человеком и обругал его нецензурными словами. Человек оказался следователем прокуратуры и решил возбудить против Жени уголовное дело. Боясь как бы дело это не кончилось для него очень плохо, Женя воспользовался тем, что однажды лежал уже в психиатрической больнице и сам пришел в Кащенко. Это был высокий молодой человек крепкого телосложения, с веселыми голубыми глазами и рыжей бородой. Бороду он отрастил уже здесь, в больнице, отказываясь бриться. Мудрость этого решения я постиг позже, когда через неделю пришла парикмахерша брить нас. Она должна была быстро побрить здесь около ста человек и успеть еще в другое отделение. Когда она поспешными размашистыми движениями стала тупой безопасной бритвой снимать с моих щек недельную щетину, мне показалось, что вместе с щетиной она снимает и всю кожу.

Женя обычно с благодушной улыбкой, лениво, в развалочку, таким увальнем, прохаживался по коридору и, казалось, чувствовал себя вполне уютно за решетками Кащенко.

— Юра, вы меня удивляете, — говорил он, развалившись на своей койке и выкуривая одну сигарету за другой. — Мне дико видеть человека, который имеет убеждения и придерживается каких-то принципов. В наше время, когда все так меняется... — он взглянул мне в лицо и расхохотался. — Вижу, вижу, о чем вы думаете: «Вот типичный представитель советской интеллигенции. Циничная продажная сволочь». Так ведь? Ха-ха-ха!... Нет, серьезно, о каких принципах может идти речь, когда приходится рвать кусок друг у друга из глотки? Ведь что такое современный автор? Вы видели этих современных авторов? У них вид боксеров. Если вы его не пустите в эфир или не напечатаете, так он вам морду набьет. А вы, должны вам сказать, ведете себя совершенно неправильно. Нужно писать то, чего требует рынок. Конечно, приятнее писать то, что думаешь. Я понимаю. Ну, а если нельзя, почему бы не заняться просто литературным ремеслом. Ведь литература, сам литературный процесс — это, в конце концов, преодоление неких чисто технических трудностей. Вы знаете, как адски трудно писать интересно о том, что тебе не интересно. Сколько я на это потратил сил!... А вы просто даете им топтать себя. Когда я услышал, что вы разносите телеграммы на почте, я чуть не заплакал. Честное слово! Ну вот хотите, я переделаю любой ваш рассказ так, что он пойдет? Я выверну его наизнанку, там, где черное, сделаю белое, мрачное станет веселым, конец сделаю началом, и он пойдет. Ей Богу! Не верите?...

— Вы думаете, что вы нормальный человек? Юра, вы заблуждаетесь, — говорил он в другой раз. — Все мы здесь ненормальные. Нормальных людей вообще не существует. Нормальный человек — это абстракция. Вот увидите, они найдут у вас тут тысячу болезней.

А когда я удивлялся тому, как легко и спокойно переносит он жизнь в Кашенко, он мне гооврил:

— Чем развитее человек, чем он умнее, тем больше он понимает, что разница между свободой и несвободой в высшей степени относительна.

Но я не мог с ним согласиться. Я очень тяжело переносил неволю. И пребывание в Кашенко только укрепило мое давнее убеждение, что неволя — это худшее из зол, неволя — это самое худшее, что может случиться с человеком, неволя хуже нужды и лишений, хуже болезни, хуже любого несчастья.

В один из долгих кашченских вечеров Женя рассказал мне очень забавную историю о том, как американцы снимали в сотрудничестве с нашим телевидением документальный фильм «По Волге». Сотрудничество состояло в том, что наши из всех сил старались помешать американцам снять что-нибудь неприглядное и для нас нежелательное. Американцы же со своей стороны старались из всех сил обмануть своих советских сотрудников и снять именно что-нибудь «нежелательное». Разумеется, победа осталась за американцами, потому что нежелательного вокруг было столько, что стоило нацелить объектив наугад в любую точку, как получался нежелательный кадр. В окончательный вариант фильма вошел даже такой уникальный кадр: на экране показывается ссора на базаре, как вдруг объектив перекрывает чья-то пятерня. Голос диктора говорит: «А это рука нашего советского сотрудника, помогающего нам в нашей работе».

Был в 5-ом отделении и еще один представитель художественного мира — Володя, наркоман. «Художник с Мосфильма, а жена из бардака», — как он сам рекомендовался. «Привел мне раз приятель б...дь, я по пьянке и женился». Собирая вокруг себя слушателей, Володя с увлечением рассказывал о том, какими способами он любил свою жену-блядь. Некоторые из этих способов он даже наглядно демонстрировал, производя соответствующие телодвижения и беря себе моделью кого-нибудь из слушателей. Таких способов, как он утверждал, они с женой практиковали около пятидесяти. Вот как выгодно иметь жену-б...дь, заключал он.

Володя всегда находился в непрерывном движении. Этот человек жил в темпе *Allegro vivace*. Он непрерывно двигался, говорил без умолку, при этом разговаривая с одним человеком, он успевал в то же время вставлять реплики в чей-нибудь чужой разговор, принимался за какое-нибудь дело и тут же бросал его, хватался за другое. Когда спал этот человек и спал ли он вообще, я не знаю. Поздно вечером, засыпая, я слышал его голос, а на рассвете меня будило шарканье, раздававшееся у меня под самым ухом — это Володя натирал щеткой паркет в коридоре (моя кровать была в коридоре). Санитарки благоразумно решали: чем пропадать зря такой неиссякаемой энергии, лучше использовать ее производительно, и давали ему щетку.

С Мосфильма же был и Лева Н. Странная мысль засела у него в голове. Ему казалось, что его матерью, в молодости, овладел Сталин, и что он, Лева, не кто иной, как сын самого Иосифа Сталина.

Как-то я бродил в задумчивости по коридору, и при каждом повороте сталкивался с молодым человеком, который так же, как я, прохаживался из конца в конец — коридор, уставленный кроватями, был слишком узок, чтобы в нем могли разойтись двое, и мы на поворотах чуть не стукались лбами. В отличие от меня молодой человек был, видимо, в веселом расположении духа и беспечно напевал что-то. Я прислушался и с удивлением услышал, что он веселым голосом пел: «...горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело». Я заговорил с ним. Он работал разметчиком на заводе «Красный пролетарий». Его привезли в Кашенко прямо с завода, где он, в цеху, стал призывать людей верить в Бога.

— А давно ли вы сами верите в Бога? — спросил я.

— Да в общем, с детства. Меня мать в детстве всегда водила в церковь. Но как-то особенно сильно я почувствовал, что Бог есть, после смерти матери. Не знаю почему, но появилось у меня такое чувство. А тут, понимаете, пошел я в Донской монастырь. Мне говорили, что там есть чудотворное распятие Христа. Я расспросил старушек, где оно. Они мне показали. Подошел я к распятию и стал молиться. Я просил Бога, чтоб он дал мне голос. Петь хотелось. А потом, ночью — я еще не спал, а так лежал и дремал — вдруг почувствовал его рядом, Бога. Видеть я его не видел, но чувствовал и слышал его голос. Он мне сказал, что даст мне голос и чтоб я пошел с этим голосом по Руси петь и просить милостыню. Нет, побираться я не буду, сказал я ему. Это стыдно. Утром я встал и чувствую вдруг, что голос у меня появился. Дал он мне голос, да какой замечательный голос! Я запел, и теща похвалила меня. Сказала, что очень хорошо пою. Я шел на завод и всем людям, встречным говорил: «Бог есть! Верите вы в это или не верите, а он есть». Пришел я на завод и стал петь в цеху. Ах, как я пел! Даже слезы у меня по щекам текли. А потом стал говорить всем: «Люди, верьте мне, Бог есть!» Ну, они взяли меня и привезли сюда. На следующий день голос у меня пропал. Только один день и был. Но какой голос!... А теперь врач говорит мне: пока не перестанешь верить в

Бога, не выйдешь отсюда. А я никогда не перестану. Я верю в него и всегда буду верить.

— Ну, так обманите врача, чтобы выйти отсюда, — сказал я ему. — Скажите, что перестали верить.

— Ну нет, этого говорить я не стану. Зачем? Я верю и все...

Перед сном он обычно крестился и шептал молитву, глядя в окно на далекую звезду. Соседи замечали это и смеялись над ним.

Другой молодой человек, тоже рабочий, рассказал мне, что, придя домой с работы, он вечером почувствовал сильную головную боль. Он лег и заснул каким-то тяжелым нездоровым сном. Утром он проснулся с таким ощущением как будто, пока он спал, прошло много много лет, как будто он прожил уже целую жизнь, и все уже испытано, все познано. И все уже не нужно. Все казалось ему пустым, тщетным и неинтересным. Он чувствовал недомогание и пошел в поликлинику. Попросил бюллетень. Бюллетень ему не давали. Тогда он стал требовать. Его привезли сюда...

— Юра, а вам не кажется, что вы ждете профессора, как те двое у Беккета ждали Годо? — сказал мне однажды Женя. — Вы тоже можете написать пьесу: «В ожидании профессора». Нет, серьезно, ваш профессор, по-моему, такая же мифическая фигура как Годо, который никогда не приходит. Вы будете его ждать, а между тем, в вашей истории болезни появится новая запись: «ждет профессора». Симптом болезни: все ждет какого-то профессора.

Мы оба расхохотались. Проходившая мимо сестра покосилась на нас — «психи веселятся».

Теперь каждое утро, встречаясь со мной, Женя, смеясь, спрашивал:

— Ну как, Годо не пришел еще? Все ждете? Ну ждите, ждите.

Но Годо все же пришел. Однажды утром меня вызвали к врачу. Сопровождавшая меня санитарка сказала, что пришел профессор Морозов.

В кабинете собрались все врачи отделения. Они сидели полукругом, все в белых халатах, только один Морозов был без халата — больничные правила писаны лишь для простых смертных. На нем был дорогой костюм. Он сидел на стуле

у стены, положив ногу на ногу, и, откинувшись на спинку, устало проводил рукой по глазам с видом человека, который давно все понял и которому все ужасно надоело. Он пригласил меня сесть и задал мне сначала несколько ничего не значащих вопросов: где и с кем я живу и т.п. Потом он спросил:

— Скажите, когда вы подавали ваше заявление, представляли ли вы себе как-нибудь реально, куда бы вы поехали и как бы вы жили за границей?

— Да, конечно. У меня есть друзья в Италии. Они помогли бы мне первое время устроиться, — сказал я.

— А чем бы вы жили?

— Переводами и публикацией своих работ, которые мне не удастся печатать в Советском Союзе.

— Что это за работы?

— Например, меня интересуют современные течения в искусстве, о которых у нас можно писать лишь в ругательных тонах. Недавно я написал исследование о Микельанджело Антониони. Редактора нашли его интересным, но несмотря на это, оно не было напечатано по идеологическим соображениям.

— Вы, должно быть, очень серьезно относитесь к своему делу? — спросил профессор.

— Да. Иначе моя жизнь была бы просто лишена всякого смысла.

— Ну, а переводы вам удавалось печатать здесь?

Я перечислил свои переводы с итальянского, опубликованные в советских издательствах.

Профессор помолчал, устало закрыв глаза. Потом попросил меня рассказать какие ответы получал я на свои заявления о выезде и куда меня вызывали.

— Скажите, а сейчас как вы относитесь к этому вашему поступку? — спросил он.

Я понял, какой ответ ему нужен, и сказал:

— Если бы можно было начать все сначала, я бы не стал так поступать. Это было бессмысленно.

— И давно вы пришли к такому выводу?

— После того, как прошел через все эти инстанции в МВД.

— Значит, сейчас вы уже не думаете над тем как уехать?

— Нет. Это нереально.

— Правильно. И не надо думать.

До чего же хорошо это придумано — отправлять таких

людей как я в психбольницу, а не в тюрьму. Следователю и прокурору в таких случаях как мой просто не за что зацепиться: ведь все законы на моей стороне, и я добиваюсь только того, что формально гарантировано мне законом. Врач же вовсе не обязан обращаться к законам, он апеллирует к здравому житейскому смыслу и с этой точки зрения расценивает мое поведение, а здравый житейский смысл, как известно, выражается поговоркой: «Дурак ищет правды, а умный покоя». Но тем самым создается довольно парадоксальная ситуация: человека за то, что он добивается свободы (в моем случае свободы выезда) отправляют к психиатру, и тот, исходя из явно антисоветской предпосылки, а именно: что свободы у нас нет и добиваться ее это безумие — наказывает этого человека как антисоветчика. Тут есть над чем поразмыслить.

Профессор стал спрашивать меня о моих склонностях, привычках, о моем отношении к людям. Из моих ответов у него, видимо, складывалось впечатление обо мне, как о натуре созерцательной и самоуглубленной. Он задумался, снова устало закрыл глаза, потом, после долгой паузы, спросил:

— Скажите, ведь вы, насколько я понимаю, по характеру своему не борец, как же вы решились на такой шаг?

— На этот вопрос не так просто ответить, — сказал я. — Дело в том, что в житейских ситуациях, в быту, я, действительно, человек скорее пассивный. Но когда речь заходит о моих коренных убеждениях, здесь я совершенно непреклонен и готов идти на любые жертвы.

— На любые жертвы? — спросил профессор, оживившись, и внимательно посмотрел на меня. Он, видимо, придавал особое значение этому моему ответу и хотел услышать его еще раз.

— На любые жертвы, — повторил я твердо.

— Ну что ж, у меня больше нет вопросов. Вы можете идти, — сказал он.

На следующий день я подошел к Константину Максимовичу, когда он делал обход, и спросил:

— Скажите, обследование, ради которого я нахожусь здесь, теперь кажется закончено. Могу я узнать решение комиссии?

— В общем, в двух словах я могу вам об этом сказать. Профессор объяснил ваши поступки свойствами вашего характера и некоторой склонностью к сверхценным идеям. Иными

словами, есть некоторые вещи в жизни, которые вы ставите превыше всего, а это мешает вам иногда правильно оценивать обстановку. Сейчас, перед праздником, мы никого не выпи-сываем из больницы (речь шла о празднике 7 ноября и я знал, что перед этим праздником революции всех подозрительных, всех, кто мог устроить контрдемонстрацию и тем нарушить «единодушное ликование трудящихся», обычно запирали на несколько дней в КПЗ или в психушки). Но сразу же после праздника, вы сможете пойти домой. А пока, мы будем давать вам галлоперидол небольшими дозами.

Я подумал: если я принадлежу к категории людей, которые определенные духовные ценности ставят выше любых материальных благ и готовы идти за свои идеи на любые жертвы, то каким образом меня излечит от этого галлоперидол? Но тяжесть свалилась с моей души. Мне не приписали того, что обычно приписывают политическим и чего я опасался — вяло-текущую шизофрению. Через несколько дней я буду свободен!

Но вот миновал праздник. Прошел день, другой, третий, четвертый... Других больных выписывали и они уходили до-мой. А меня и не думали выпускать. Я начинал подозревать, что от меня что-то скрывают.

Между тем, три раза в день мне стали давать галлоперидол в таблетках. Я знал, что это лекарство имеет очень вредные побочные действия, кажется, разрушает печень. Я не имел ни малейшего желания начинать свой организм подобной дрянью и, когда медсестра давала мне таблетку, я клал ее в рот и засовывал незаметно под язык, после чего «запивал» водой. Сестра, убедившись, что я выпил лекарство, уходила, а я выплевывал его. А что бы я делал, если б мне назначили уколы?

Снова потянулись тоскливые, бесконечно длинные кашен-ские дни. Появлялись новые больные. Как-то рано утром, часов в пять или шесть, меня разбудило громкое пение — кто-то нещадно фальшивя срывающимся голосом пел Интернационал. Это был новый больной, студент Дима. С этого дня каждое утро начиналось пением Интернационала. На Диму кричали, прогоняли его прочь, и тогда он уходил в уборную, и оттуда доносились приглушенные звуки пролетарского гимна. Днем Дима сидел где-нибудь в углу и долго, с большим вниманием читал какую-то вырезку из газеты. Я однажды заглянул ему

через плечо и прочел заглавие статьи: «Кризис современного капитализма».

В другой раз меня разбудил чей-то незнакомый голос: человек громко говорил кому-то, стоя рядом с моей кроватью:

— ...ну, так значит договорились. Встретимся в крематории. Как только выпишешься, сразу приходи в крематорий.

— Вы что это? Нашли место для свидания! — сказала санитарка.

— Да я там работаю, в крематории.

Вот, в нашей коллекции прибавился теперь еще и гробовщик, подумал я, и открыл глаза, чтобы взглянуть на представителя столь экзотической профессии. Это был невысокий человечек, на голове его топорщился вихор, как-то по-мальчишески несолидно. Представитель столь мрачной профессии оказался большим весельчаком и балагуром. Он болтал без умолку обо всем на свете. И изрекал обо всем очень авторитетным тоном несусветную чушь.

— ...нет, Крупская я не знаю, где похоронена, — раздавался его голос. — У них с Лениным не было детей. Вообще у всех великих мыслителей не было детей. У Ленина не было детей, у Наполеона не было, у Гитлера не было... — он хотел назвать еще кого-нибудь, но его сведения о «великих мыслителях», видимо, этим исчерпывались.

— Вы уверены, что у Наполеона не было детей? — спросил я.

— А что, разве не так? — он испуганно посмотрел на меня и поспешил перевести разговор на другую тему. Через минуту он все тем же авторитетным тоном рассуждал о трудностях освоения космоса.

Я собирался познакомиться еще с одним недавно поступившим больным, который казался мне человеком симпатичным и неглупым. Как вдруг он сам подошел ко мне. Он счастливо улыбался и ему, видно, хотелось с кем-то поделиться своей радостью.

— Сегодня выписываюсь, — сказал он мне.

— Как? Ведь вас совсем недавно привезли сюда. Сколько вы здесь пробыли?

— Неделю.

— И уже выпускают? Такого случая тут, по-моему, еще не было.

— Дело в том, что я вообще оказался здесь совсем случайно. Напился я после получки. Пятнадцать рублей пропил. Но пятьдесят еще оставалось. Ну, и вместе с другими угодил в вытрезвитель. Просыпаюсь утром — карманы пусты, денег ни копейки. Я говорю милиционерам: «Что, решили отпраздновать День милиции на мои денежки? (Это было как раз в День милиции). Так вы, сволочи, говорю, хоть бы рубль мне оставили на дорогу». Ну, они меня пинками под зад спустили с лестницы. Я встал и пошел к ним опять правды добиваться. Тогда они меня избили и привезли сюда. Теперь я эту милицию буду ненавидеть люто.

— А здесь врачи что у вас нашли? Белую горячку?

— Нет, ничего не нашли. А то бы они меня еще лечили.

— Вы где работаете?

— Бригадиром монтажной бригады на стройке.

Его позвали переодеваться, он радостно побежал в раздевалку.

Как-то вечером привезли нового больного — юношу, студента физмата. У него были гладко причесанные темные волосы до плеч, как у немецких романтиков прошлого века, тонкий профиль, выразительные руки с длинными изящными пальцами. В нем чувствовалась натура утонченная и хрупкая. Он с тоской озирался вокруг. Это новое окружение, видимо, вызывало у него отвращение и страх. Было как раз время ужина. Позвали в столовую. Он сел в углу, уперся острым локтем о стол и закрыл лицо рукой. Он был очень живописен. Видно было, что он сильно мучится. Мне стало жаль его. Я подошел к нему и спросил:

— Недавно привезли?

Он с испугом посмотрел на меня, но, убедившись, что я человек вполне нормальный, сказал:

— Да, сегодня.

— Тоскуете?

— Очень.

— Это пройдет. Привыкнете.

Потом мы с ним разговорились. Родители, недовольные тем, что он целыми днями сидел дома, занимаясь математикой и философией, послали его на консультацию в клинику профессора Снежневского. Там его посмотрели и положили насильно в больницу, в 32-ое отделение. (32-ое отделение отли-

чалось более легким режимом — больные там свободно выходили погулять во двор и даже, кажется, ходили в своей собственной одежде). Юноша сбежал оттуда, его сразу же поймали и перевели к нам, в 5-ое отделение, с замками и решетками. Я спросил его, какие именно вопросы философии интересуют его больше всего. Он сказал, что его, как математика интересует, конечно, больше всего гносеология.

— В таком случае вы, должно быть, внимательно читали Канта? — спросил я.

— Нет, к сожалению, я читал только статьи о нем, а самого Канта у нас достать трудно.

Я разуверил его.

— Недавно вышло собрание сочинений Канта и, следовательно, его легко можно получить в любой солидной библиотеке.

Он очень удивился.

— Неужели? Как только выйду из больницы, пойду в библиотеку и прочту его.

Привыкнув к тому, что всякая немарксистская мысль у нас запрещена, он был уверен, что Канта тоже нельзя достать и даже не пытался это сделать.

Он попросил меня рассказать ему подробнее о философии Канта. Я изложил ему, как мог, вкратце систему критического идеализма Канта. Разъяснил ему, что значит «вещь в себе» и «вещь для нас». Потом он рассказал мне о своих собственных взглядах на теорию познания. Он говорил о консубстанциональности субъекта и объекта, как неперенном условии всякого познания вообще. То, что он говорил, напомнило мне интуитивизм раннего Лосского. И я посоветовал ему прочесть (если он сумеет достать) написанную еще до революции блестящую книгу Н. Лосского «Обоснование интуитивизма». Он взял листок бумаги и старательно записал на нем названия тех книг, которые я посоветовал ему прочесть. Через несколько дней его перевели обратно в 32-ое отделение, и на этом, к сожалению, наши философские беседы оборвались.

Между тем, в старых больных, тех, с которыми я познакомился уже давно, я с течением времени обнаруживал вдруг черты, которых сначала и не предполагал в них, и они представляли передо мной в совершенно новом свете. Я думал: как же врачи, которые появляются в палатах лишь на не-

сколько минут во время обхода, которые, побеседовав с больным каких-нибудь полчаса уже устанавливают диагноз, как они могут со спокойной совестью брать на себя право распоряжаться судьбами этих людей: держать их за решеткой, предписывать им сильнодействующие и часто опасные лекарства? Ведь, чтобы узнать человека с ним надо пуд соли съесть.

Особенно удивил меня Сережа, тот самый молодой человек с наколками, который сидел на кровати и чертил в воздухе рукой какие-то знаки, когда меня привезли. Он оказался вовсе не таким страшным. Он был совсем как ребенок. Стоя у окна, он подражал карканью ворон. Когда ему говорили: «Сережа, пой!» Он начинал петь. Ему говорили: «Сережа, бегом!» И он послушно начинал бегать, смешно задирая ноги в огромных спадающих тапочках. Обычно он ходил по коридору, прижав руки к туловищу, прямо держа голову на как бы окостеневшей шее и смотрел куда-то вдаль задумчивым взглядом, все время улыбаясь каким-то своим мыслям. Однажды, прохаживаясь по коридору, он неожиданно заплакал навзрыд.

Я подошел к нему.

— Сережа, ты что?

— Да я вспомнил одну артистку, — ответил он дрожащим голосом.

— И что?

— Умерла она. Первая любовь моя.

— Давно?

— Пять лет назад, — он вытер слезы кулаком.

Другой больной подошел и сказал мне:

— Не обращай внимания, он часто плачет. Стоит иногда в уборной у окна и плачет. Его спросишь: «Ты что?» А он: «Домой не выписывают».

Через несколько дней я наблюдал, как Сережа, счастливо улыбающийся, сидел на койке и беседовал с санитаркой.

— Ты что такой веселый? — спрашивала санитарка.

— Завтра выписывают!

— Вот как хорошо, — сказала санитарка, вовсе не собираясь его разуверять. (Интересно, однако, было бы узнать, что именно дало ему такую надежду, почему он решил, что завтра его выпишут?)

— Сколько же ты у нас пробыл? — спросила санитарка.

— Двадцать первого числа будет ровно десять месяцев. (Оказывается, он тоже считал дни!)

— Ну, и что же ты будешь делать, когда выпишешься? — спросила санитарка.

— Буду работать. У меня очень хорошая профессия. Я штукатур. На любую стройку возьмут. Вот выйду и пойду устраиваться. Деньги у меня есть.

— Да что ты! И много у тебя денег?

— Вот они, все здесь у меня, в коробочке. — Он достал откуда-то из-за пазухи коробочку из-под сигарет, открыл ее и вынул оттуда носовой платок, аккуратно завязанный узелочком. В платке позвякивали монеты. Он стал развязывать узелок.

— Не надо, не развязывай, — сказала санитарка, — он у тебя так хорошо упакован. Сколько же у тебя денег?

— Рубль двадцать пять копеек, — сказал Сережа, радостно улыбаясь.

На следующий день он стоял в уборной у оконной решетки и плакал — «Не выписывают». И эта надежда рухнула.

Другой больной, молодой человек с широкими азиатскими скулами и подслеповатыми глазами, сидел обычно целыми днями на лавке и угрюмо молчал. В один из дней я вдруг увидел, что он сидит рядом с молодой санитаркой и с большим увлечением ей что-то рассказывает. Я прислушался.

— ...а разбился Комаров совсем рядом с нашей частью. Его капсула как врезалась, так вошла в землю метра на два.

— Какой Комаров? Космонавт? — спросил я.

— Ага, — сказал он и продолжал. — Первым прибежал туда один пастух. Еще пиропатроны рвались.

— Что это за пиропатроны? — спросил я.

— Ну как же! В любом самолете, а тем более на спутниках, есть секретная аппаратура. В каждом приборе пиропатрон, чтобы в случае аварии прибор взорвался и не попал кому-нибудь в руки. Я, когда на аэродроме служил, раз чуть не взорвался на таком пиропатроне. Мы обслуживали самолеты, проверяли их. А я ни черта не знал еще, чуть-чуть не подорвался. Хорошо, меня механик во-время остановил... Ну вот, подняли нас всех, весь полк, среди ночи, заставили надеть парадную форму, надраиться, начиститься. Потом повезли и выстроили вдоль всей дороги, по которой его гроб везли. А в гробу только кучка костей, да мяса — все, что от него

осталось. Всю ночь не спали и весь день маялись из-за него. Ну и проклинали же мы все его тогда!...

Другой раз, тоже обычно молчаливый солдат — «самоубийца», Саша, вдруг разговорился. Он до армии работал бухгалтером в магазине, потом ревизором.

— ...поймали их в то время, как они делили три ведра денег, — услышал я, как он говорил кому-то.

— Это кого же поймали? — спросил я.

— Да механики, что с автоматами газированной воды работают, знаешь что делают? Устраивают так, что монета падает мимо копилки. А они приходят потом, дверцу отпирают и денежки себе. В этот момент их обычно и ловят. Вот эти на двоих три ведра медяков делили. В ведре 10 килограммов — то есть сто рублей. А дома у них под кроватями нашли мешки медных денег. В каждом мешке умещается меди примерно рублей на тысячу.

— Как же они меняли все эти деньги? — спросил я.

— Да очень просто. У тех старушек, что сидят у автоматов, разменивают деньги. Сунут ей на лапу пятерку — много ли ей, старушке, надо — она и обменяет им. Вообще интересные вещи творятся у нас в торговле. Одна тетка, завмаг, сумела за несколько лет растратить больше ста тысяч — это миллион старыми деньгами! Ее к расстрелу приговорили. А она на суде в последнем слове сказала: «Я, говорит, по крайней мере, уже пожила в коммунизме. А вы когда-то еще к нему придете!»... А на складе тары у директора недостача была в сто пятьдесят тысяч рублей. Казалось бы, ну чем там можно поживиться, на этой таре — пустые ящики, да бочки, и все. А пойди эту бочку достань! К нему из деревень приезжали мужички, бочонки покупали — капусту солить, огурчики. Очень нужная вещь в хозяйстве. Обычно они, кто работает там, как почувствуют, что скоро ревизия, так устраивают пожар у себя на складе. Чтоб все концы в воду. Но этот не успел... А один молодой парень, директор магазина, каждую субботу летал на самолете в Сочи, в море искупаться. Ну, у этого была небольшая недостача. Всего тысячи полторы или две. Его даже не посадили, а просто заставили выплачивать.

— Странно, почему же во многих магазинах объявления висят, что требуются продавщицы? — спросил я. — Ведь это такое прибыльное дело.

— Эх-эх, вы не знаете, что такое продавцом работать. Иметь-то он имеет. Да как это все достается. Вот вы все думаете: продавцы-сволочи. Обманывают, обвешивают. А ведь иначе нельзя. Я-то знаю. Завотделом всю естественную убыль берет себе, ну, конечно, и с директором делится. А у нас, кстати, по нормам дается довольно большая естественная убыль на все товары. В большом магазине заведующий ежемесячно имеет на этом сотни рублей. А продавец как хочешь, так и выкручивайся. Конечно, приходится обвешивать.

— Ну, а если продавец не согласится отдать заведующему убыль? Скажет, не хочу и все. И будет по-честному работать? — спросил я.

— Не согласится?! Ну, тогда он может сразу писать заявление об уходе. Жить ему там не дадут. Что ты!... Или вот, например, приносят продавщице товар и там ящик сгущенки, аккуратно запечатанный, все как надо. Она его принимает по накладной, расписывается. А потом, когда открывает — в нем банок пяти сгущенки нехватает. Это рабочие, что грузят ящики, вынули банки, а ящик аккуратно снова закрыли. Вот как хочешь, так и выкручивайся. В торговле волчьи законы. Тут кто кого обманет — тот и живет.

Вспоминается мне еще один очень любопытный разговор, вернее обрывок разговора — начала я не слышал, а подошел в тот момент, когда санитарка объясняла одному больному, что значит слово «инакомыслящий».

— Понимаешь, инакомыслящий, — говорила она, — это значит такой человек, который думает не так как все. Он видит все не так как мы, понимает все не так, неправильно. Думает не так. Одним словом, он ИНАКОмыслящий. Понимаешь? Поэтому его помещают в больницу.

Откуда она сама этого набралась? — подумал я. От кого слышала? Неужели слово «инакомыслящий» уже из области политической перекочевало в область медицинской терминологии?

Между тем дни проходили, и мне было совершенно непонятно, почему меня продолжают держать в больнице, раз меня признали фактически здоровым. По-прежнему более всего тяготила меня невозможность побыть одному, а также отсутствие свежего воздуха. Все вокруг надоело до тошноты —

обстановка больницы, постоянное безделье и шатание из угла в угол, пошлая и глупая болтовня больных и санитаров, убивающих скуку пустым «чесанием языков». Тягостным было и вынужденное общение с некоторыми больными. Больными по-настоящему. Особенно одолевал меня один графоман. Узнав, что я литератор, он при каждом удобном случае ловил меня, загонял куда-нибудь в угол и начинал подолгу читать свои стихи (если только это можно назвать стихами!). Потом он долго рассказывал мне о слежке, которую установили за ним КГБ и православная церковь (он написал однажды антирелигиозный стишок). Пристально глядя на меня блестящими глазами (этот блеск одержимости в его глазах я запомню на всю жизнь), он допытывался у меня, как сделать, чтобы стихи его напечатали. Ведь, опубликовав свои стихи, он мог бы сильно повлиять на развитие русской литературы, значительно поднять ее уровень ...Послушав его полчаса, я обалдевал и мне начинало казаться, что я сам схожу с ума. Отравлял мне жизнь и больной цыган, тот самый, от смеха которого я проснулся в первое утро. Не раз он подходил ко мне в то время, как я спал, и будил меня дергая за нос (отвратительное пробуждение, надо сказать). Вступать с ним в конфликт (все конфликты здесь немедленно переходят в драку), разумеется, было нельзя. КГБ только этого и ждало от меня. Приходилось терпеть. Сильно действовали на нервы также и отвратительные сцены, которые приходилось видеть ежедневно: зайдешь, например, в туалет и вдруг видишь, как кто-то из больных с жадностью пожирает собственные экскременты или во время обеда за столом кто-то вдруг начинает биться в судорогах и плевать прямо в тарелки соседям.

Вдруг в один из дней приехал некий полковник медицинской службы комиссовать закончивших лечение солдат. Их по одному вызывали в кабинет врача. Все они очень волновались. Если комиссуют — это значит освобождение от дальнейшего прохождения военной службы. Домой, на свободу. Если нет — военный трибунал за симуляцию или умышленное членовредительство.

Неожиданно вызвали в кабинет и меня. Полковник устремил на меня строгий взгляд сквозь поблескивавшие стекла очков и спросил:

— Скажите, теперь вы уже оставили эту вашу мысль уехать за границу?

— Я оставил эту мысль как нереальную и неосуществимую, — ответил я.

— Но вам все же хотелось бы поехать в Италию, не так ли?

— Конечно. Это вполне естественное желание человека, который посвятил многие годы своей жизни изучению итальянского языка и итальянской культуры.

— Почему вы работаете почтальоном?

— У меня не было другого выхода. Я потерял свое место в Университете. А милиция начала преследовать меня как тунеядца.

Полковник задал мне еще несколько вопросов и отпустил меня.

Вечером мне удалось уговорить одну из сестер посмотреть, что написано в моем деле. Она рисковала быть за это уволенной, но все же сделала это. Когда все улеглись спать, она незаметно прошла во врачебный кабинет, открыв его своим ключом, и разыскала мое дело. Там было записано: «Психопатия. Держать под наблюдением районного психиатра». Это значит, что впредь меня в любой день могут снова запереть в психбольницу. Стоит только мне сказать или написать что-нибудь неугодное властям. А именно это я уже и совершаю в данный момент, делая эти записи.

Через несколько дней Константин Максимович сказал мне, что завтра я буду выписан из больницы. Прошел месяц с тех пор, как меня привезли сюда. По кашенским понятиям это совсем маленький срок. Почему меня выпустили так быстро? Потому ли что мне удалось убедить врачей, что я здоров? Или потому, что КГБ нашел не целесообразным сейчас принимать по отношению ко мне более жесткие меры ввиду огласки моего дела и того шума, который поднялся вокруг меня? Или их цель на этот раз состояла просто в том, чтобы поставить меня на учет в районном психдиспансере? Не знаю.

На следующее утро я позавтракал последний раз осточертевшей вареной треской, безвкусной, как тряпка. Предстояло еще прожить в лихорадочном нетерпении до обеда — выписка из больницы производилась с двух часов дня. Наконец, меня позвали переодеваться. Я надел свой костюм. Он показался мне

необыкновенно удобным и красивым. Мне выдали больничный лист, в котором было записано, что я находился в больнице им. Кащенко на военной экспертизе. В графе «диагноз» стоял просто прочерк. Я не имел права знать, чем я болен! Я вышел на улицу. С наслаждением вдохнул свежий воздух и сразу же опьянел. Закружилась голова, я чуть не упал. Вокруг ходили люди — нормальные, здоровые люди в нормальной человеческой одежде. Деревья — с остатками пожелтевших листьев. Можно подойти и потрогать рукой. У ног скакали воробушки. Жизнь. Свобода. Надолго ли?

Декабрь 1969 г.

Юрий Махцев

